

нее. Никогда она так привлекательна не казалась ему. Да и не то что привлекательна; никогда она так вполне не владела им».

Пост, усиленная физическая работа, молитвы к Богу — ничто не помогало. Как ничто не могло отвести Родиона Раскольникова от совершения убийства (параллель органично напрашивающаяся, вряд ли случайная — Толстой высоко ценил первую часть романа «Преступление и наказание»). Опоздав на свидание, он в шалаше мечтает о счастье с ней, преступном и ускользающем счастье: «„А что бы за счастье было, если бы она пришла. Одни здесь в этот дождь. Хоть бы раз обнять ее, а потом будь что будет. Ах, да, — вспомнил он, — если была, то по следам можно найти”. Он взглянул на землю пробитой к шалашу и не заросшей травой тропинки, и свежий след босой ноги, еще покотившейся, был на ней. „Да, она была. Но теперь кончено. Прямо, где ни увижу, пойду к ней. Ночью пойду к ней”. Он долго сидел в шалаше и вышел из него измученный и убитый».

Иртенева с поистине адской силой тянет к черным, смеющимся, веселым глазам и красной паневе, этим повторяющимся приметам толстовской «инфернальницы», приметам, от которых ему нет спасенья. Выходов из тупикового положения немного, и все они безумны и трагичны, как два варианта окончания повести, кажется, самой мрачной и безысходной в творчестве Толстого (мрачнее даже «Крейцеровой сонаты», с которой во многом перекликается), далеко запрятанной от глаз любопытствующих, особенно Софьи Андреевны, все-таки ее обнаружившей (она положительно обладала талантом великого сыщика — ухищрения Льва Николаевича непременно разгадывались).

И в том и в другом варианте «дьявол» побеждает. В первом предпочтение отдается самоубийству после недолгого колебания: «Ведь она черт. Прямо черт. Ведь она против воли моей завладела мною. Убить? Да. Только два выхода: убить жену или ее. Потому что так жить нельзя (...). Ах, да, третий есть: себя, — сказал он тихо вслух, и вдруг мороз пробежал у него по коже. — Да, себя, тогда не нужно их убивать». Ему стало страшно именно потому, что он чувствовал, что только этот выход возможен». Во втором — выбор пал на уничтожение «дьявола» (безнадежное дело — дьявол, как известно, бессмертен и неуязвим). Обоженный смеющимся взглядом, говорившим «о веселой, беззаботной любви между ними, о том, что она знает, что он желает ее, что он приходил к ее сараю, и что она, как всегда, готова жить и веселиться с ним, не думая ни о каких условиях и последствиях», почувствовав себя в ее власти, Евгений «невольнo» направляется к ней, вдруг решается на убийство «дьявола» (еще минуту назад ломал голову, как бы незаметно от других назначить ей свидание): «Да неужели я не могу овладеть собой? — говорил он себе. — Неужели я погиб? Господи! Да ведь нет никакого Бога? Есть дьявол. И это она. Он овладел мной. А я не хочу, не хочу. Дьявол, да, дьявол». А. Г. Гродецкая, анализируя семантику одного из главных мотивов в поздних повестях Толстого («Крейцера соната», «Отец Сергей», «Дьявол»), приходит к выводу, с которым нельзя не согласиться: «Здесь метафорический „дьявол” не только составляет психическую реальность, но и как будто материализуется в реальность чувственную. Реальным убийством, что самое главное, оборачивается победа над ним».<sup>197</sup> Неудачно тут только слово «победа»; точнее будет говорить о попытках избавиться от «дьявола», убив ее или себя. В любом варианте — это не победа, а поражение.

И хотя «шалящие» «инфернальницы» Достоевского и Толстого чрезвычайно несхожи (и еще более несхожи поэтические принципы Достоевского и

<sup>197</sup> Гродецкая А. Г. Ответы предания. Жития святых в духовном поиске Льва Толстого. СПб., 2000. С. 120.